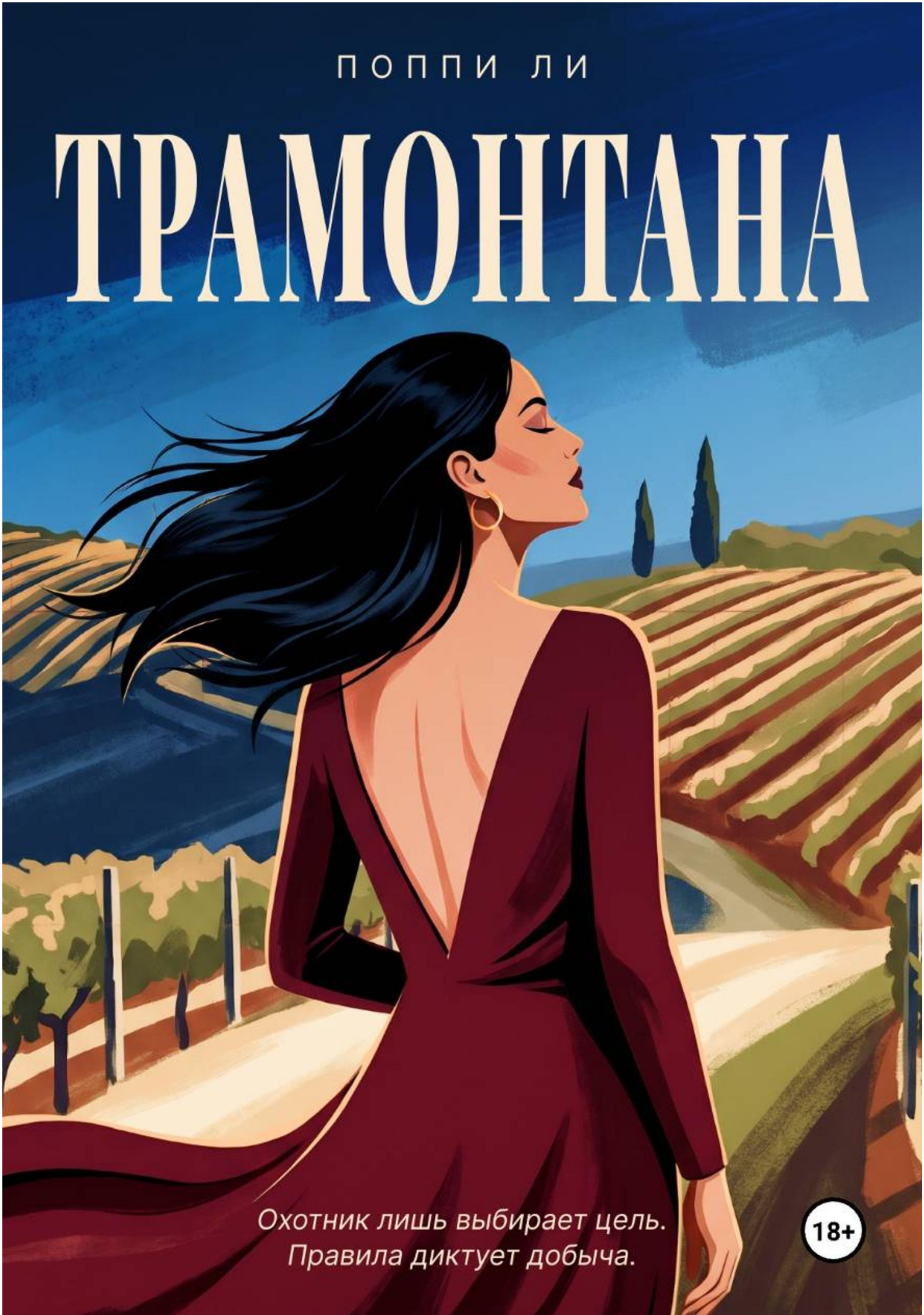
ПОППИ ЛИ

ТРАМОНТАНА



Охотник лишь выбирает цель.
Правила диктует добыча.

18+

Поппи Ли

Трамонтана

«Автор»
2026

Ли П.

Трамонтана / П. Ли — «Автор», 2026

Семь лет назад на горном серпантине в предгорьях Пиренеев погибла мать Мии Моралес. Полиция списала всё на несчастный случай, но мамины бумаги говорят другое: за трагедией и долгами семейной винодельни стоит могущественный клан Кастильо.У Мии нет ни связей, ни денег, чтобы воевать с миллиардной империей. Зато у неё есть книга-расследование, способная обрушить репутацию клана. Под чужим именем она проникает в закрытый мир барселонской элиты, загоняет главу холдинга Адриана Кастильо в ловушку и ставит безумное условие: он станет тайным консультантом книги, которая должна его уничтожить.Адриан не терпит отказов. Каждую неделю он мчит по ночному серпантину в её старую усадьбу, продуваемую трамонтаной — ветром, который сводит людей с ума. И чем сильнее их запретное притяжение, тем страшнее правда.Охотница сама оказывается в капкане. А настоящий монстр всё это время был куда ближе, чем она могла представить.

© Ли П., 2026
© Автор, 2026

Содержание

От автора 6
Пролог 7
1 10
2 15
3 19
Конец ознакомительного фрагмента. 27

Трамонтана

кат. tramuntana — «из-за гор»

Холодный северный ветер. Срывается с Пиренеев на равнины Альт-Эмпорды и дует днями — без передышки, порывами больше ста километров в час. Выметает с неба облака, а из головы — всё лишнее.

В этих краях про тех, кто теряет рассудок, говорят: *тронутый трамонтаной*.

От автора

Эта история — тёмный романтический триллер. 18+.

В книге есть: сцены близости — чувственные, но без откровенной графики; гибель матери героини и убийство; насилие, в том числе над связанным человеком; предательство близких; горе и чувство вины выжившей; финансовый шантаж и угрозы; слежка, взлом и вторжение в личное пространство; властные отношения и психологическое давление; герой, помолвленный с другой женщиной.

Если какая-то из этих тем для вас болезненна — пожалуйста, позаботьтесь о себе.

Повествование ведётся от первого лица, глазами Мии, в настоящем времени. Бонус-глава в конце книги рассказана Адрианом.

Приглашаю в Альт-Эмпорду. Закройте ставни: с гор уже спускается трамонтана.

Пролог

Охотник всегда думает, что выбирает добычу. Иногда добыча выбирает охотника.

Три выхода, шесть охранников, сорок два бокала шампанского — и ни одного честного лица.

Сорок третий бокал у меня в руке, и моё лицо тоже нечестное. Но я хотя бы знаю, за что плачу.

Стекло запотело, а пальцы у меня ещё холоднее. Я только что с улицы, где ноябрьская Барселона пахнет жареными каштанами и мокрым камнем. В особняке в Эшампле пахнет иначе. Воском сотни свечей. Лилиями, которых так много, что от них ноет переносица. И деньгами. У денег тоже есть запах. Старые пахнут кожей и деревом. Новые пахнут духами, которых слишком много.

Табличка на третьем столе утверждает, что я Ана Феррер. Ана Феррер работает консультантом по частным коллекциям в Жироне. Она пожертвовала фонду реставрации пиренейских фресок сумму, которой мне хватило бы на полгода жизни. На самом деле это весь мой аванс за прошлую книгу. Надеюсь, святые на стенах оценят мой скромный вклад.

Я обхожу зал по краю. Так обходят место преступления, чтобы не наступить на улики. Здесь что ни гость, то готовый персонаж. Только успевай записывать. Банкир у колонны смеётся на полтакта раньше конца шутки. Значит, шутит его начальник. Дама в изумрудах за пять минут трижды поправила колье. Или оно не её, или она в нём не уверена. Или и то и другое. Двое у окна так громко говорят о яхтах, что яхта явно есть только у одного.

Я собираю такие наблюдения много лет. Сначала собирала для газеты, потом для книг о людях, которые убивают. Словами лгут все. Руки, плечи и пауза перед ответом лгут гораздо хуже.

Его я нахожу не сразу. И это первое, что мне в нём не нравится.

Он не стоит в центре. Центр отдан аукционисту, вспышкам фотографов и хрустальной люстре, от которой по стенам бежит рябь бликов. Он у дальней стены, где свет мягче, и вокруг него пусто. Людей рядом хватает, но они держатся на расстоянии вытянутой руки и сами этого не замечают. Так стоят у края платформы, когда подходит поезд.

Адриан Кастильо. Главный меценат вечера. Его имя стоит в программке первым. Оно напечатано золотом и мелким шрифтом, но почему-то кричит громче любого крупного.

Я знаю о нём больше, чем его портной. Год рождения. Список компаний, где в документах стоит его подпись. И список тех, где подписываются люди, которые без него не моргнут. Знаю, что он не даёт интервью. Знаю, что женщины его круга смотрят на него как на трофей. Сейчас я вижу, как он смотрит на них в ответ. Как на погоду за окном. Отметил и забыл.

Когда он говорит, собеседник наклоняется к нему, хотя мог бы просто прислушаться. Бокал в его руке полон. Кажется, с самого начала вечера. Он поворачивает кисть, и свет ложится на длинные спокойные пальцы. Руки человека, который ни разу в жизни не торопился. Ни перстня, ни браслета. Только тонкие старые часы на потёртом кожаном ремешке. Так носят вещи, которые никому не нужно показывать.

Я ловлю себя на том, что пишу его. Мысленно, абзац за абзацем. И абзацы выходят слишком хорошими. Это злит. Персонаж, который так легко ложится на бумагу, либо очень прост, либо очень опасен.

Простым он не выглядит. А потом он поднимает глаза.

Не на аукциониста и не на даму в изумрудах. Он смотрит через весь зал прямо на меня. Сквозь свечи, вспышки и сорок два бокала.

Секунда растягивается. Я слышу, как кто-то роняет вилку на фарфор. Как аукционист выдыхает «продано». Как шуршит чей-то шёлк. По позвоночнику ползёт озноб. Дыхание

застревает где-то под ключицами. Пальцы сжимают тонкую ножку бокала сильнее, чем позволяет тонкое стекло.

Я пришла сюда охотиться. Почему же тогда кажется, что это меня только что заметили в высокой траве?

Я отвожу взгляд первой. Нарочно. Поворачиваюсь к витрине с лотами, где под стеклом лежит старинная карта Пиренеев. Делаю вид, что граница восемнадцатого века интересует меня больше, чем человек за спиной.

Мужчины вроде него не выносят, когда от них отворачиваются. Это я тоже знаю. Это я и проверяю.

Я считаю до сорока. На тридцать шестом воздух рядом со мной меняется.

Сначала я чувствую запах. Сандал и табак. Тёплый, тяжёлый запах вытесняет лилии так легко, словно их здесь и не было. Потом у самого плеча звучит голос, низкий и ровный:

— Карта неточна. Перевал на ней на полтора километра западнее, чем на самом деле.

Я не оборачиваюсь сразу. Это стоит мне усилий.

— Вы проверяли лично? — спрашиваю я у стекла.

— Мои люди проверяли. — Пауза, в которую помещается усмешка. — Ты не из Барселоны.

«Ты». Без разрешения и без паузы. Так берут со стола чужую зажигалку.

Я поворачиваюсь. Вблизи он выше, чем казалось с другого конца зала. И стоит на ширину ладони ближе, чем позволяют приличия. Я это отмечаю. Он это видит и не отступает.

— А вы, сеньор Кастильо, не из тех, кто подходит к незнакомкам первым.

— Значит, ты знаешь, кто я.

— Вас знает весь зал. Ваше имя напечатано золотом в программе вечера.

— Золотом печатают не имя, а сумму. — Он чуть наклоняет голову. — А твоего имени я не слышал.

— Ана Феррер.

— Ана Феррер, — повторяет он. В его голосе моё вымышленное имя звучит ещё более чужим.

— Консультант по частным коллекциям. Из Жироны.

— Из Жироны. И кого же консультирует Ана Феррер из Жироны?

— Тех, кто покупает красивые вещи и не понимает, что купил.

— Полезная профессия. У тебя здесь полный зал клиентов.

— Я заметила. Дама в изумрудах, например, купила колье, которое ей не идёт.

Уголок его рта сдвигается на миллиметр, не больше. Я не уверена, что это улыбка. Я не уверена, что он вообще улыбается так, чтобы это было видно.

— А мне? Что не идёт мне?

— Благотворительность. — Я пожимаю плечом. — Фрески в горных церквях. Как трогательно. Вы правда верите, что святым нужны ваши деньги?

— Святым — нет. — Он разглядывает меня как редкий лот. Без спешки и с расчётом. — Но людям в этом зале нужно видеть, как я их трачу. Щедрость — лучшая форма отчётности, Ана. Её никто не проверяет.

— Звучит как признание.

— Звучит как правда. Ты их путаешь?

— Профессиональная деформация.

Я делаю глоток, чтобы занять руки. Шампанское такое сухое, что почти горчит.

Он молчит. Так молчат не тогда, когда подбирают слова. Так молчат, когда слова уже подобраны и осталось решить, какое потратить.

— Знаешь, что в тебе странно? — говорит он наконец. — Ты ни разу не спросила, чем я занимаюсь. Это интересует всех. Все спрашивают, даже те, кто знает.

Внутри что-то обрывается. Коротко, как ступенька, которой не оказалось под ногой. Снаружи я, надеюсь, только поднимаю бровь.

— Может, мне неинтересно.

— Может, — соглашается он. — А может, ты уже знаешь.

Он наклоняется совсем чуть-чуть. Ровно настолько, чтобы я почувствовала тепло его кожи сквозь прохладу зала.

— Груша, — говорит он негромко. — Спелая. В ноябре.

— Это вопрос?

— Наблюдение. Здесь все пахнут деньгами. А ты пахнешь летом, которое уже давно закончилось.

Мне хочется отступить на шаг. Я не отступаю.

Пора. Я держу паузу, пока она не становится неловкой. Для кого угодно, только не для него. Потом говорю то, ради чего пришла:

— Говорят, вы теперь вкладываетесь в лозу. Через «Sarment», кажется?

И смотрю ему в лицо внимательнее, чем смотрела на любую страницу. Зрачки. Уголки губ. Пальцы на бокале. Хоть что-нибудь.

Ничего.

Он слегка сводит брови. Вежливо и без интереса, как человек, которому назвали улицу в чужом городе.

— Не слышал. Лозу я оставляю тем, кому хватает терпения ждать урожая. — Короткая пауза. — Кто тебе это сказал?

Ни один мускул. Он даже не моргнул чаще.

«Профессионал», — думаю я, и внутри поднимается что-то стылое и злое. Конечно, профессионал. Люди, которым есть что скрывать, обычно выдают себя. Люди, которые прячут по-настоящему страшное, не выдают себя никогда.

— Слухи, — говорю я. — На таких вечерах их подают вместе с канапе.

— Канапе здесь отвратительные.

— Слухи тоже.

И я ухожу. Не прощаюсь и обрываю разговор на полуслове. Так ставят точку там, где собеседник ждал запятую. Оставляю бокал на подносе официанта. Прохожу мимо дамы в изумрудах, мимо банкира, мимо охранника номер четыре у гардероба.

Он не идёт следом. Я знаю это, не оборачиваясь. И всё равно до самой двери чувствую его взгляд между лопаток. Как ладонь, которая никак не решится лечь.

На улице меня встречают сырой холод и каштановый дым. Пасео-де-Грасия уже в рождественских огнях. Они слишком ранние и слишком яркие, и люди под ними кажутся счастливее, чем есть. Я прохожу два квартала и сворачиваю в переулок. Прислоняюсь спиной к мокрой после дождя стене. Только теперь у меня начинают дрожать руки.

Достаю телефон, чтобы вызвать такси, и экран вспыхивает датой. Двадцать восьмое ноября.

Я давно не считаю дни *до*. Только дни *от*.

Я пришла сюда, чтобы уничтожить этого человека.

Я не учла только одного: он смотрел на меня так, будто уже знал, чем всё закончится.

1

Первым меня будит запах дыма.

Он просачивается сквозь закрытые ставни, сквозь щели в старых рамах, сквозь одеяло, натянутое до носа. Горьковатый, смолистый, с привкусом сладости. На террасах жгут сарменты. Обрезанную лозу всегда жгут в начале зимы, сколько я себя помню.

Потом я слышу ветер.

Ставня на левом окне бьётся о стену. Раз, другой. Пауза. Снова. Ветер ходит вокруг дома и пробует его на прочность. Дёргает черепицу, свистит в трубе, ищет щели. Находит. Трамонтана. Первая в этом сезоне.

Я лежу и слушаю. Спала я четыре часа. Вернулась в начале четвёртого, бросила платье на стул и уснула, не смыв тушь. Теперь на наволочке чёрные следы, а шёлк на спинке стула похож на чужую кожу, которую с меня сняли.

Тело просыпается раньше головы. Левое плечо помнит тепло. Дистанцию в ширину ладони. Голос, который звучал так близко, что не нужно было прислушиваться.

Я сажусь в кровати так резко, что кружится голова.

Нет. Только не с утра.

Комната та же, что в детстве. Те же обои с выцветшими веточками оливы. Тот же шкаф, дверца которого не закрывается до конца. Та же трещина на потолке, похожая на реку на карте. В пятнадцать я придумывала этой реке названия. Сейчас не могу вспомнить ни одного.

Я надеваю то, что первым попадается под руку. Старый свитер с растянутыми рукавами. Джинсы. Шерстяные носки, потому что каменный пол зимой ледяной даже сквозь ковёр.

В коридоре я прохожу мимо двери в самом конце. Она закрыта. Я не смотрю на неё. Я давно научилась отводить взгляд так, чтобы это выглядело случайно.

На кухне пахнет чесноком, тёплым хлебом и подгоревшим сахаром. Под потолком горит жёлтая лампа, хотя уже светло. На плите что-то шипит. Радио на подоконнике бормочет по-каталански про ветер и закрытые дороги в горах.

Инес стоит ко мне спиной и режет лук. Нож стучит по доске ровно, как метроном. Она не оборачивается.

— Садись, нена.

— Доброе утро.

— Утро было в семь. Сейчас почти десять.

Она ставит передо мной тарелку. Хлеб, натёртый помидором и чесноком, с каплей масла. Кусок тортильи. Кофе в щербатой чашке с синей каймой, из которой я в детстве пила какао.

— Я не голодна.

— Ешь. Потом будешь страдать.

Я ем. С Инес спорить бесполезно. Я поняла это лет в пять и с тех пор ни разу не выиграла.

Она снова отворачивается к доске. Нож стучит. Радио обещает, что трамонтана продержится до конца недели. Я жду вопроса. Инес видела, как я вернулась. Она спит чутко, а её окно выходит во двор, где я ставлю машину. Она слышала мотор. Слышала, как я на цыпочках поднималась по лестнице с туфлями в руке.

Вопроса нет.

Это хуже, чем если бы она спросила.

— Я была в Барселоне, — говорю я наконец. — Встречалась с издателем.

— Хм.

— Обсуждали сроки.

— До трёх часов ночи.

— Издатели — люди занятые.

Инес смотрит на меня через плечо. Один короткий взгляд, и мне снова восемь, и меня поймали с банкой варенья. Потом она вытирает руки о фартук и возвращается к луку.

— Ешь, — повторяет она.

Её фартук синий, в мелкую клетку, застиранный до белизны на сгибах. Второй фартук висит на крючке у двери. Тёмно-зелёный, с карманом, в котором всегда лежали секатор и моток бечёвки. Он висит там семь лет. Инес протирает полку над ним и подоконник рядом. Сам фартук она не трогает. На нём лежит тонкий слой пыли, и меняется только этот слой.

Я смотрю на фартук одну секунду. Потом смотрю в кофе.

Инес достаёт из буфета вторую чашку. Наливает кофе, добавляет молока ровно сколько нужно, кладёт два куска сахара. Ставит чашку на край стола, туда, где никто не сидит.

Через минуту дверь со двора распахивается, и вместе с ветром в кухню входит Матео.

Он сразу снимает кепку. Так он делает всегда, сколько я его помню. На пороге, одним движением, будто входит в церковь. Ветер успевает швырнуть на пол горсть сухих листьев и запах дыма. Матео захлопывает дверь плечом.

— Ну и задувает, — говорит он. — Доброе утро, дочка.

— Доброе утро.

От него пахнет дубом, сырой землёй и дешёвым чёрным табаком. Седая щетина, обветренное лицо. Руки красные от холода, в трещинах, с чёрной каймой под ногтями. Он берёт чашку, которая уже ждёт его, и пьёт стоя. На Инес он не смотрит.

— Спасибо, Инес, — говорю я за него.

Инес фыркает. Матео поднимает брови. Кажется, он только сейчас заметил, кто налил ему кофе.

— Трамонтана, — говорит он и кивает на окно. — На три дня. Потом ещё на три. Потом посмотрим.

— Ты всегда так говоришь.

— И всегда прав. — Он ставит чашку. — Нижнюю террасу дорежем к обеду. Верхнюю завтра, если не сдует.

— Тебе помочь?

Он смеётся. Смех у него хриплый, прокуренный, и у глаз собираются глубокие морщины.

— Этими ручками? — Он кивает на мои ладони, и я прячу их под стол. Ногти короткие, но ухоженные. Городские руки, как он говорит. — Ты, дочка, лучше пиши. Лоза ножницы любит, а не перо.

— Это пословица?

— Теперь пословица.

Он садится напротив. Стул жалобно скрипит под его весом. Матео ставит локти на стол, сцепляет узловатые пальцы и смотрит на меня с тяжёлой, давящей внимательностью. Под глазами у него залегли тёмные мешки. Он кажется старше на десять лет.

— Всё пишешь? — спрашивает он.

— Пишу.

— Про что на этот раз?

— Про людей, которые врут.

Пальцы Матео на секунду вздрагивают. Он не отводит взгляда, но его челюсть чуть сжимается. Пауза длится ровно столько, чтобы в тишине стало слышно, как гудит ветер в печной трубе.

— Про людей, значит, — медленно произносит он и кривит губы в усмешке. — Неблагодарное дело. В газетах про таких пишут каждый день, а толку нет. Ты лучше на террасы глянь. Земля живая. А ты сидишь взаперти, в старых бумагах копаешься. Мне с нижней террасы видно, как у тебя лампа до четырёх утра горит.

— Я просто проверяю даты, Матео.

— Даты. — Он глухо качает головой, и в голосе прорезается хрипота. — Мёртвая лоза лежит в земле, дочка. Если её ворошить, вино слаще не станет. Только руки ссадишь да гниль поднимешь. Твоя мать тоже всё проверяла. До последнего дня.

Я замираю с чашкой у губ.

— Что она проверяла?

Матео осекается. Морщины вокруг его глаз собираются в мелкую сетку, и он резко поднимается со стула.

— Счета. Бочки. Долги. Упрямая была женщина, земля ей пухом. — Он берёт со стола кепку и натягивает её до самых бровей. — Не будь как она, Мия. Не лезь туда, где ничего уже не исправить.

Он выходит во двор. Дверь захлопывается с глухим стуком. Инес провожает его долгим, немигающим взглядом, но не говорит ни слова.

Мия. Не «дочка», как всегда. Наверное, разговоры о маме до сих пор сбивают его с привычных слов.

После завтрака я обхожу дом. Не знаю зачем. Наверное, проверяю, на месте ли он.

Дом слишком большой для трёх человек. Половина комнат закрыта. В гостиной мебель стоит под белыми чехлами. Диван, кресла, пианино, на котором никто не играет. Под чехлами они похожи на вещи в доме, который выставили на продажу и забыли.

В столовой стоит длинный стол на двенадцать человек. Последний раз за ним сидели все двенадцать, когда мне было десять. Я помню шум, запах жареного мяса, смех. Сейчас на нём стоит ваза с сухими колосьями и лежит пыль.

У окна в коридоре я останавливаюсь. Отсюда видны террасы. Лоза стоит голая и чёрная, плети торчат во все стороны, как скрюченные пальцы. На нижней террасе двое сезонных рабочих в куртках с капюшонами режут их секаторами. Матео работает между ними. Отрезанные плети бросают в кучу, и она тлеет. Ветер рвёт дым на клочья и уносит к горам.

Мама всегда резала сама.

Она говорила, что лоза чувствует чужие руки. У неё самой руки были жёсткие, в мозолях, а под ногтями до самого Рождества темнел сок винограда. Она звонила мне в Барселону и говорила: «Мия, начали обрезку. Приезжай, ты же любила костры». Я отвечала, что у меня дедлайн. У меня всегда был дедлайн.

Где-то наверху снова бьёт о стену ставня. Я отхожу от окна.

В кабинете с утра холодно, как в склепе. Старый обогреватель не справляется, нужен второй, а он в гараже. Я спускаюсь на кухню.

— Инес, удлинитель в гараже?

Скалка на секунду замирает. Инес не поднимает головы, но её пальцы на деревянных ручках белеют.

— Должен быть, — говорит она глухо. — Нечего тебе там делать, нена. Пусть Матео принесёт, как вернётся.

— Матео вернётся к вечеру. Я замерзаю сейчас.

Она медленно выдыхает через нос. Не спорит, но воздух на кухне сразу становится колючим.

— Ключ на гвозде у косяка. Возьми фонарь на полке. Проводку замкнуло ещё в прошлый шторм, свет так и не сделали.

Гараж стоит в глубине двора, прижавшись к глухой каменной стене усадьбы. Ветер свистит в стыках ворот. Железная створка поддаётся со скрежетом, и меня обдаёт могильным холодом.

Внутри пахнет застоявшимся машинным маслом, сыростью и старым железом. Жёлтый луч фонаря режет темноту: полки со ржавыми банками, мотки проволоки, ящики с гаечными

ключами. Удлинитель висит у входа. Я снимаю провод с крючка и уже хочу развернуться, но луч сам собой падает в центр помещения.

Пустой прямоугольник бетона.

Здесь годами стоял мамин синий пикап. На стене осталась тёмная полоса от заднего бампера, а на полу — въевшееся чёрное пятно масла. Отсюда она выехала в ту ночь на серпантин.

Горло перехватывает спазмом. Воздух кажется таким густым и мёртвым, что лёгкие отказываются его принимать. Я щёлкаю кнопкой фонаря, вываливаюсь наружу и захлопываю железную дверь на засов.

Кабинет когда-то был отцовским. Потом маминым. Теперь мой.

Инес называет его норой. Я называю его рабочим местом. На самом деле это бункер.

Ставни здесь закрыты всегда. Горит только настольная лампа, и от неё на стене дрожит круг света. Всё главное в кабинете висит на стене. Сначала там была пробковая доска во всю ширину. Когда её перестало хватать, я начала клеить листы прямо на обои. Карта Альт-Эмпорды. Распечатки. Даты, обведённые красным. Фотографии. Нитки от булавки к булавке, как в плохом сериале. Я знаю, что это похоже на плохой сериал. Но на стене я вижу то, чего не вижу в голове.

В центре висит его фотография. Он на открытии терминала в порту, вполоборота, с бокалом. С бокалом, который он, как я теперь знаю, никогда не допивает.

Я подключаю обогреватель к удлинителю, сажусь за стол и открываю блокнот. Спираль приятно холодит ладонь. Сейчас я разложу вчерашний вечер на атомы. Без эмоций. Профессионально, как привыкла препарировать чужую ложь.

28.11. Благотворительный вечер, Эшампле.

1. Подошёл сам. На тридцать шестой секунде. Не терпит, когда к нему стоят спиной, или привык сразу загонять объект в угол.

2. Перевал. Знает Коль-де-Баньюльс. «Мои люди проверяли». Зачем портовому магнату знать горную тропу контрабандистов?

3. Вторжение. С первой секунды на «ты». Ломает чужие границы раньше, чем собеседник успевает представиться.

4. Проверка на фальшь. Заметил, что я не расспрашивала о логистике. Считывает людей быстрее, чем они выстраивают легенду.

5. «Sarment»: ноль реакции. Либо пустота, либо идеальный контроль.

Я подчёркиваю пятый пункт. Потом ещё раз, с нажимом. Ни один мускул на его лице не дрогнул. Либо он действительно не слышал этого названия, либо он лжёт лучше профессиональных преступников. А я брала интервью у людей, которые с ясными глазами отрицали кровь на своих руках.

Я опускаю взгляд ниже и замираю.

На полях, в самом низу страницы, моим почерком торопливо выведено: *сандал и табак*.

Я не помню, как написала эти слова. Видимо, ещё ночью, когда пальцы помнили лихорадку вчерашнего зала.

Злость обжигает горло. Я перечёркиваю строчку. Раз, другой, третий. Нажимаю так яростно, что стальное перо рвёт бумагу, оставляя чёрную борозду. С хрустом выдираю страницу, сминаю в кулаке и швыряю в угол. Бумажный ком глухо бьётся о плинтус.

Замечательно. Верх профессионализма.

Я закрываю лицо ледяными ладонями. Под веками тут же вспыхивает мерцание свечей, хрусталь и его голос у самого уха. «Груша. Спелая. В ноябре». Пауза перед словом «спелая». Чужое тепло, пробившееся сквозь холод зала.

Я открываю глаза и смотрю на фотографию.

— Вы мне не нравитесь, сеньор Кастильо, — говорю я ей вслух.

Фотография молчит. Он смотрит мимо камеры, куда-то влево. С той же вежливой скукой, с какой вчера смотрел на даму в изумрудах.

Почему-то это задевает меня сильнее всего.

Я беру чистый блокнот и подписываю на обложке: *Кастильо. Слабые места*. Открываю первую страницу. Сижу над ней десять минут.

Страница остаётся пустой.

К вечеру ветер не стихает, а только набирает силу. Дым с террас пропал. Небо над горами расчистилось до звонкой черноты, и звёзд на нём столько, что на них больно смотреть.

Инес приносит ужин в кабинет. Ставит поднос на край стола. Молча смотрит на стену и на фотографию в центре. Потом на меня.

— Это твой издатель?

— Это работа.

— Хм, — говорит Инес и уходит.

Я ем и не чувствую вкуса. Потом, вместо того чтобы работать, открываю светскую хронику. Говорю себе, что это тоже часть дела. Надо знать, кто был на вечере, кто с кем стоял, кто кому улыбался.

Фотографий много. Аукционист с молотком. Дама в изумрудах, которая на снимке выглядит ещё несчастнее, чем вживую. Банкир со своим начальником. Я листаю почти не глядя.

И останавливаюсь.

Снимок сделан с другого конца зала. В центре кадра пара позирует фотографу с бокалами. А на заднем плане, у витрины с картой, стою я. Лицо размыто и повёрнуто к стеклу. Платье узнаётся сразу.

Рядом со мной стоит он.

Пара в центре смотрит в объектив. Все в этом кадре смотрят в объектив.

Кроме него. Он смотрит на меня.

Я увеличиваю снимок. Потом ещё раз. Пиксели расползаются, лицо теряет черты, но взгляд остаётся. Не на карту и не в зал. На меня.

Ветер бьёт в ставни так, что дрожит стекло.

Он смотрит на меня даже с фотографии.

2

Две недели я не открываю светскую хронику.

Это неправда. Я открываю её каждый вечер. Снимок никуда не делся. Пара в центре кадра всё так же улыбается в объектив. Я всё так же стою у витрины, размытая и повёрнутая к стеклу. А он всё так же смотрит на меня.

Меня видели. Пусть вполоборота и не в фокусе, но видели. Значит, на следующий вечер нельзя прийти той же.

Следующий вечер назначен на четырнадцатое декабря. Рождественский аукцион в старом яхт-клубе в порту. В каталоге семнадцатым лотом стоит модель парусника девятнадцатого века. Дар холдинга «Кастильо». Его люди там будут. Возможно, будет и он сам.

Я говорю себе, что иду из-за людей.

В прошлый раз мои волосы были распущены. Теперь я зачёсываю их гладко назад и стягиваю в тугой узел на затылке. Шпильки колют кожу. В прошлый раз помада была светлой. Теперь я беру тёмную, цвета перезрелой сливы. Платье чёрное, шёлковое. Высокий ворот, длинные рукава, ни сантиметра лишней кожи. В этот раз Ана Феррер ничего не показывает.

Из зеркала на меня смотрит женщина, которой нечего скрывать. Она мне не нравится. Значит, получилось.

Когда я спускаюсь в кухню с пальто, перекинутым через локоть, Инес как раз протирает буфет. Она оглядывает мой глухой ворот, шпильки в волосах и тёмные губы. Тряпка в её руке замирает.

— На похороны так не одеваются, нена, — роняет она сухо. — Ты идёшь убивать или сдаваться?

— Я иду работать.

Она молча заворачивает в салфетку бутерброд с хамоном и всовывает мне в сумку. Сверху вдавливает яблоко.

— Там ты будешь пить шампанское, — отрезает Инес. — А есть будешь в машине на заправке. Чтобы доехала живой.

Спорить с ней бесполезно.

Старый яхт-клуб пахнет солью, лакированным тиком и мокрыми канатами. Этот запах не перебивают ни сигарный дым, ни хвоя рождественских венков, ни устрицы на колотом льду. Он въелся в медные перила, в обшивку стен, в дубовый паркет, который скрипит под каблуками. Окна во всю стену смотрят на закрытую гавань. За покачивающимися мачтами яхт в темноте поднимаются портовые краны, жёлтые от прожекторов. Терминалы Кастильо. Его краны. Его порт.

Я беру с подноса официанта бокал и считаю. Выходы. Охрану. Лица.

Зал полон старых каталонских денег. Фамильные бриллианты на дряблых шеях, смокинги, купленные тридцать лет назад, негромкий гул вежливых разговоров. Возле бара седая дама рассказывает молодому человеку о своих чистокровных лошадях. Рядом со стеклянной витриной, где выставлен лот номер семнадцать — модель старинного брига, — дежурят двое мужчин в тёмных пиджаках. Они не притрагиваются к вину и не улыбаются. За круглым столом у самого паркета сидит пожилой человек в смокинге с атласными лацканами. Его лицо кажется смутно знакомым, но я не успеваю зацепить память.

— Чёрный шёлк до подбородка, — раздаётся над самым ухом.

Голос звучит тихо, без единой лишней ноты. Я не слышала шагов. В этот раз он не ждал тридцати шести секунд. Нашёл меня сразу, пока я изучала охрану у стеклянных дверей.

Я медлю с поворотом ровно столько, чтобы не выдать дрожь в пальцах.

— В прошлый раз ты выглядела менее целомудренно, Ана.

Он обходит меня сбоку и встаёт напротив. На нём тёмно-синий шерстяной смокинг. Сандал и табак вытесняют запах моря. В приглушённом свете гирлянд его глаза кажутся темнее обычного.

— В прошлый раз я не собиралась на отпевание, сеньор Кастильо.

— Чьё?

— Чьего-то вкуса. — Я чуть наклоняю бокал в сторону эстрады, где пианист фальшиво тянет рождественский мотив. — Морской аукцион под расстроенный рояль — суровое испытание для ушей.

— Это благотворительность. Здесь платят не за музыку, а за индульгенции. — Адриан чуть прищуривается. Его взгляд медленно скользит по моему высокому вороту к губам. — Я проверил каталог экспертов по морскому антиквариату Каталонии. Круг узкий, все друг друга ненавидят. Фамилии Феррер там нет.

Внутри всё стягивается в узел. Пульс бьёт под шёлком платья, но лицо остаётся маской.

— Плохо искали.

— Я всегда нахожу то, что ищу.

— Тогда вам должно быть известно: самые редкие архивы находят те, чьих имён нет в официальных списках.

— Или те, кто пользуется чужими именами, — спокойно парирует он.

Скрипка тянет длинную, тягучую первую ноту старого вальса. Пары медленно выходят на полированный паркет.

Адриан не повторяет вопрос. Он протягивает мне руку. Не просит и не приглашает. Просто держит ладонь раскрытой между нами, чуть выше бокала.

— Это допрос, сеньор Кастильо?

— Это проверка координации. Ты ведь утверждаешь, что крепко стоишь на ногах.

Я ставлю бокал на столик и кладу пальцы в его ладонь.

Его рука тёплая и сухая. Моя — холодная, как всегда. Он ведёт меня в центр зала, и я чувствую, как разговоры вокруг приглушаются. Дама с лошадьми замолкает на полуслове.

Его правая ладонь ложится мне на спину.

Чуть ниже лопаток. Спокойно и тяжело, как рука хозяина на перилах собственной лестницы. Шёлк платья слишком тонкий. Тепло его пальцев пробивает ткань так, будто между нами ничего нет. Я выбирала этот ворот, чтобы закрыть кожу. Я не подумала, что сквозь ткань всё равно можно чувствовать.

Мои пальцы ложатся ему на плечо. Чувствуют плотную шерсть смокинга и жёсткую линию ключицы.

Мы делаем первый шаг.

Я пытаюсь перехватить ведение. Нарочно, чтобы прощупать силу. Чуть раньше начинаю разворот, чуть твёрже ставлю каблук. И он позволяет. Один такт. Второй. Я веду, и Адриан идёт за мной, мягко и податливо, так что на секунду мне чудится победа.

На третьем такте его ладонь на моей пояснице сдвигается на сантиметр. Почти незаметно. И власть возвращается к нему так плавно, что я даже не успеваю понять, как потеряла опору.

— Ты слишком отчаянно сопротивляешься, Ана, — говорит он вполголоса. — Для женщины, которая сама пришла ко мне в руки.

— Я пришла на публичный вечер, сеньор Кастильо.

— Ты пришла ровно туда, где был я. Дважды за две недели. В такие совпадения я не верю.

— Может, я просто восхищаюсь вашим вкусом?

— Не лги. У тебя пульс бьётся так, будто за спиной обрыв.

Музыка тянется, густая и медленная. Огни гирлянд отражаются в стекле, за которым качаются мачты. Мы кружимся слишком слитно. Точно делали это сотни раз. Это неправильно.

Мы чужие. Мы враги. Но тело откликается на каждый нажим его ладони раньше, чем голова успевает выстроить оборону.

Это пугает меня сильнее, чем проверка моего вымышленного имени.

— Не пытайся ломать линию, Ана, — негромко произносит он. Его губы оказываются слишком близко к моему виску.

— Привыкла сама задавать ритм.

— На этом паркете направление выбираю я.

— Это предупреждение, сеньор Кастильо?

— Забота о твоих туфлях. Ты наступаешь мне на носки.

— Значит, вы держите меня слишком близко.

— Я держу тебя ровно настолько, чтобы ты не сбежала до конца вальса. — Его ладонь на моей спине чуть сильнее натягивает шёлк. — И чтобы понять, зачем ты здесь.

— Разве я похожа на шпионку?

— Ты похожа на человека, который принёс с собой спички, но делает вид, что пришёл погреться.

Музыка замедляется, ведя к коде. Мы кружимся у крайних столиков. Самое время.

— Семнадцатый лот каталога, — говорю я, глядя ему прямо в переносицу. — Модель брига девятнадцатого века. Щедрый подарок от вашего холдинга.

— Историческое наследие побережья. Семейный фонд поддерживает традиции.

— Наследие? В предгорьях говорят, старые контрабандисты не любили море. Они предпочитали уходить сушей. Перевалом Коль-де-Баньюльс, например. Говорят, тропа до сих пор не заросла.

Я впиваюсь взглядом в его лицо. Зрачки. Скулы. Уголки рта.

Ни один мускул не вздрагивает. Адриан лишь приподнимает бровь:

— Я плохо переношу пешие прогулки в горах, Ана. А с таможней порт давно научился договариваться без романтики.

Ничего. Идеальная стена.

Но за его плечом, за круглым столом у самой кромки паркета, раздаётся резкий, сухой стук.

Старик в старомодном смокинге с широкими атласными лацканами застывает с бокалом у самого рта. Его пальцы вздрагивают. Капля красного вина срывается на белоснежную скатерть. Он смотрит на нас не мигая.

Взгляд Адриана на долю секунды соскальзывает к старику. Всего на миг. Короткий, ледяной разряд приказа: *не смей*.

Потом Адриан снова смотрит на меня, но в глубине его зрачков на секунду вспыхивает жёсткий, колючий свет.

Я знаю лицо этого старика. Оно висит у меня на стене в кабинете. Бартомеу Сагрера. Личный юрист старого Рамона Кастильо. Человек, который четверть века оформлял сделки клана.

Внутри разливается злая, ликующая волна. Он знает. Они оба знают.

Скрипка обрывает последний аккорд. Пары вокруг замирают и нестройно аплодируют.

Адриан отпускает меня не сразу. Неспешно разжимает пальцы, позволяя шёлку выскользнуть из его хватки. В открытые стеклянные двери с террасы врывается ледяной морской сквозняк, и спину, где только что лежала его ладонь, тут же обжигает холодом.

— У тебя острый слух, Ана, — негромко произносит он. — И плохие информаторы. На допросы я отвечаю только в суде. А туда меня пока никто не вызывал.

Он делает полупоклон, разворачивается и неторопливо идёт через зал. Проходит мимо столика Сагреры, не повернув головы. Слишком нарочито, чтобы это было случайностью.

Я остаюсь одна посреди паркета. Вокруг шумят голоса, звенят бокалы, аукционист стучит молотком по кафедре. Я стою в своём чёрном шёлке, и по коже бегут мурашки. Не от сквозняка.

Барселона остаётся за спиной. Впереди стеной стоят ночные Пиренеи, и трамонтана с размаху бьёт машину в левый борт. На пассажирском сиденье лежит остывший свёрток Инес. Есть не хочется. Я давно выдернула шпильки и бросила в подстаканник. Волосы тяжёлой волной лежат на плечах.

Я перебираю вечер по секундам.

Дрогнувший бокал Сагреры. Капля вина на белой скатерти. Взгляд Адриана. *«На допросы отвечаю только в суде»*.

На светофоре в Фигерасе я поднимаю глаза к зеркалу.

Я улыбаюсь.

Не холодной улыбкой Аны Феррер. Злой, голодной улыбкой охотника, который наконец услышал, как в темноте щёлкнула ветка под ногой зверя.

3

Я ставлю запись на паузу. Потом отматываю на двадцать секунд назад и включаю снова.

В кабинете темно, горит только экран ноутбука и маленькая лампа на прищепке. Синий свет ложится на мои руки. Пальцы ледяные, хотя обогреватель у ног гудит так, что мешает слушать. За ставнями третью ночь подряд воет трамонтана.

На экране экономический форум в Валенсии, запись двухлетней давности. Камера стоит далеко, звук глухой, кто-то в первом ряду всё время кашляет. Адриан Кастильо говорит о контейнерных терминалах и таможенных коридорах. Скучнее темы не придумаешь. Я открыла видео час назад, чтобы выписать названия дочерних компаний холдинга.

В блокноте под локтем нет ни одного названия.

Зато я точно знаю, на какой секунде он расстегнёт пуговицу пиджака. Знаю, как он чуть наклоняет голову к микрофону, прежде чем назвать цифру, и как в зале после этой цифры сразу стихает шорох бумаг. Знаю, как звучит его вдох в паузе между фразами. Низкий, спокойный, чуть хрипловатый.

Я резко захлопываю крышку ноутбука. В темноте остаётся только жёлтый круг от лампы.

Прекрасно. Просто блестяще. Ещё немного, и я начну конспектировать тембр его голоса.

Я поднимаю глаза к стене. Вчера ночью я переколола булавки. Теперь рядом со снимком Адриана висит вырезка из старой судебной хроники. Бартомеу Сагрера на ступенях суда в Барселоне десять лет назад. Старик стоит за левым плечом Рамона Кастильо и прижимает к груди кожаную папку. Один мертвец и один пенсионер, который пять дней назад уронил каплю красного вина на белую скатерть, услышав название перевала Коль-де-Баньюльс.

За это время я перерыла всё, что смогла достать о Сагрере. Ушёл из большой адвокатуры через месяц после похорон старого Рамона. Купил дом в Ситжесе у моря, разводит розы, с журналистами не разговаривает. Глухая стена. Если я приеду к его воротам и начну задавать вопросы, через десять минут об этом будет знать служба безопасности Кастильо.

Значит, давить нужно не на старика. Давить нужно на того, кто приказал старику молчать одним взглядом через паркет.

Я снова открываю ноутбук. В соседней вкладке светится программа ежегодного логистического саммита. Девятнадцатое декабря. Сегодня в полдень. Конгресс-центр у порта. Пленарная сессия: «Прозрачный порт. Новая архитектура бизнеса». Спикер: Адриан Кастильо.

Я смотрю на часы. Половина девятого утра. Если выехать прямо сейчас, я успею к началу регистрации.

Башня конгресс-центра вырастает у самой воды из серого декабрьского тумана. Двадцать четыре этажа синего стекла и холодной стали. Никакого старого дерева, никаких свечей и расстроенных роялей. Здесь пахнет эспрессо из бумажных стаканчиков, сырой шерстью промокших пальто и дорогим тонером для принтеров. Свет под потолком белый и резкий, как в операционной. После полумрака закрытых раутов от него режет глаза.

Сегодня здесь нет Аны Феррер.

Ана Феррер носит винтажный шёлк и пьёт сухое шампанское за чужой счёт. Я одета в тёмные джинсы, водолазку и объёмное серое пальто, в котором легко потеряться в толпе. Волосы убраны под воротник, на переносице очки в тонкой роговой оправе. Обычно я надеваю их только за ноутбуком. На пластиковом бейдже у лацкана написано короткое: «Пресса. Гость».

Я сажусь в самом последнем ряду амфитеатра, с краю у бетонной колонны. Позиция снайпера. Отсюда виден каждый метр сцены, а меня закрывают чужие спины и полумрак под балконом.

Зал забит до отказа. Чиновники портового управления, логисты, банкиры, два десятка репортёров из деловых изданий с диктофонами наготове. Гул стоит плотный, деловой. Но когда

модератор произносит его имя, шум обрывается не постепенно, а сразу. Как будто в зале повернули выключатель.

Адриан выходит из-за кулис без папки и без петличного микрофона. Тёмно-серый костюм сидит на нём как влитой, белая рубашка, галстук цвета мокрого асфальта. Он подходит к стеклянной кафедре, кладёт на неё обе ладони и две секунды просто смотрит в зал.

Даже с двадцать второго ряда я чувствую, как этот взгляд прижимает людей к креслам.

— Десять лет назад этот порт работал по законам прошлого века, — начинает он, и акустика зала разносит его баритон под самый купол. — Бумажные накладные. Закрытые склады. Грузы, у которых по дороге менялось имя владельца. Это называли традицией. Я называю это грязью.

Журналисты в первых рядах лихорадочно стучат по клавишам.

Я сижу неподвижно, зажав карандаш в пальцах.

Грязью он это называет. Надо же.

— Порт должен быть стеклянным домом, — продолжает Адриан, отходя от кафедры к самому краю рампы. Свет софитов ложится на его резкие скулы и серебро на висках. — Каждый контейнер виден насквозь. Каждая транзакция оставляет цифровой след. Тот, кому нечего прятать в трюме, не боится прожекторов.

Грифель карандаша с тихим хрустом ломается о бумагу.

Я смотрю на его безупречный профиль на фоне огромного экрана и вижу совсем другое. Вижу картонную коробку из-под винных бутылок, перевязанную шпагатом.

Прошлой осенью я приехала в «Кан-Моралес» всего на выходные. Просто разобрать мамин стол, забрать старые письма и вернуться в Барселону. Матео сам принёс мне эту коробку из кладовки. Поставил на пол у двери, вытер пыльные ладони о штаны и сказал своим обычным тёплым голосом: «Тут квитанции за семь лет, дочка. Всё уплачено до сентимо, не мучай глаза».

Если бы он не сказал «не мучай глаза», я бы, наверное, и не открыла.

Но я журналист. Я открываю именно те папки, которые мне советуют не трогать.

— За последние пять лет холдинг перевёл в открытые реестры семьдесят процентов всех активов, — ровно чеканит Адриан со сцены. — Остальные тридцать пройдут аудит до конца следующего года.

Аудит. Красивое слово.

В той коробке на самом дне лежали банковские выписки за сентябрь семилетней давности. Мама брала кредит под залог виноградников ещё при моей учёбе. Чинила старый пресс и меняла гнилые бочки. Обычный сельскохозяйственный заём в местном банке Фигераса. Но за четыре дня до того, как её синий пикап сорвался со скалы в ущелье и сгорел, банк внезапно переуступил этот долг.

Его выкупила частная компания «Sarment Inversions S.L.». Семь лет подряд Матео аккуратно переводил на её счёт почти всю выручку бодеги, оставляя дому ровно столько, чтобы не умереть с голоду и платить сезонным рабочим.

Мне хватило трёх дней и двадцати евро пошлины, чтобы вытащить цепочку из торгового реестра.

У «Sarment» не было ни сайта, ни офиса, кроме почтового ящика в Фигерасе. Зато был единственный учредитель. Офшор в Андорре-ла-Велья. «Coll Negre Holding». Чёрный перевал. Имя человека, который подписывал балансы этого офшора, ничего мне не дало, пока я не проверила его по архивам портовых ведомостей за десять лет. Тот же самый номинальный директор числился в совете мелкой транспортной конторы на окраине Таррагоны. А контора на сто процентов принадлежала «Castillo Logística».

Три ступеньки. Сгоревший пикап. Подставная фирма. И человек на сцене, который рассказывает залу про чистые руки.

— Прозрачность в нашем деле — это не вопрос морали, — говорит Адриан, и в его голосе скользит сухая усмешка. Зал тут же откликается угодливым смешком. — Это вопрос гигиены.

Он делает короткую паузу. Взгляд обходит ряды, и его лицо становится жёстким:

— Мы вычищаем мёртвые фирмы. Каждую. Всё, что годами висело балластом в старых структурах, либо ликвидируется, либо взыскивает долги до последнего евро. В моём доме не будет тёмных углов.

Зал взрывается аплодисментами. Кто-то в первом ряду даже привстаёт.

У меня к горлу подкатывает тошнота. Я смотрю на сломанный грифель в своих пальцах. Если я останусь здесь ещё на минуту и буду слушать, как ему хлопают за «гигиену», я встану и крикну ему про двадцать седьмое сентября прямо через двадцать рядов голов.

Я резко поднимаюсь, подхватываю сумку и выхожу в боковой проход, пока зал ещё гремит овацией.

В холле пока пусто. Через минуту двери зала распахнутся, и толпа хлынет к лифтам. В программке написано, что кофе-брейк для прессы и гостей накрыт под самой крышей, на двадцать втором этаже. Мне нужно подняться туда раньше всех, выпить воды у окна с видом на гавань и прийти в себя. Руки до сих пор дрожат.

Я быстро сворачиваю в боковой коридор к скоростным лифтам. Лампы здесь гудят почти беззвучно, ковролин гасит шаги. Створки крайнего лифта как раз разъезжаются с тихим звоном.

Я шагаю внутрь, поворачиваюсь лицом к дверям и жму кнопку с цифрой «22».

Кабина оказывается полностью зеркальной. Четыре стены холодного полированного стекла под резким верхним светом. Я вижу в них бледное лицо в очках, серый шарф, слишком крепко сжатые губы. Достаю из кармана телефон, чтобы проверить время. Створки начинают плавно сходиться.

Между ними остаётся ладонь шириной, когда в щель беззвучно ложится мужская рука.

Узкая ладонь. Длинные спокойные пальцы.

Датчик срабатывает, двери вздрагивают и послушно откатываются назад.

Адриан Кастильо шагает в кабину.

Внутри меня всё обрывается куда-то в шахту лифта. Он один. Ни охраны из яхт-клуба, ни помощников с папками, ни организаторов саммита. На плечи накинуто расстёгнутое кашемировое пальто. Значит, он ушёл со сцены сразу после последнего слова, через служебный выход за кулисами.

Он не смотрит на меня. Поворачивается вполоборота и тянется к панели. Над кнопкой двадцать второго этажа мелкими буквами подписано: *«Панорама. Терраса для прессы»*. Адриан нажимает «18», закрытый офисный сектор, и убирает руки в карманы пальто. На фуршет к журналистам он явно не собирается.

Створки смыкаются с глухим металлическим щелчком, отрезая нас от мира.

Кабина метр на полтора. В большом зале особняка и на паркете яхт-клуба вокруг нас был воздух, были чужие люди, музыка и пространство для манёвра. Здесь нет ничего. Только стальная коробка, подвешенная на тросах, и запах сандала и табака, который за три секунды вытесняет из моих лёгких весь кислород.

Я отступаю на полшага в угол, пока лопатки не упираются в холодное стекло. Смотрю прямо перед собой. И тут же понимаю свою ошибку.

Зеркала.

В них невозможно спрятать взгляд. Передо мной, справа, слева и за спиной уходит в зелёную стеклянную глубину бесконечный коридор отражений. Сотня Адрианов Кастильо стоит в полушаге от сотни женщин в сером пальто. И каждый из них в зеркале смотрит прямо на меня.

Лифт мягко берёт разгон. Уши закладывает от скорости подъёма. Над дверью бесшумно меняются красные цифры: *3… 4… 5…*

— Двадцать второй ряд, место у колонны, — произносит он ровно. Он говорит с моим отражением в переднем зеркале, даже не поворачивая головы. — Очки без диоптрий. Дешёвое пальто и очень дорогая кожа на сумке. Если ты решила сменить профессию на репортёра, Ана, тебе стоит тщательнее подбирать реквизит.

Пальцы непроизвольно сжимают ремешок. Проклятье. Сумку мне подарил издатель после выхода первой книги.

Я заставляю себя поднять подбородок и встретить его взгляд в зеркале напротив.

— А если я просто пришла послушать лекцию о гигиене бизнеса, сеньор Кастильо?

— Тогда ты выбрала странный способ аплодировать. Ты сбежала раньше, чем я закончил фразу.

— Не люблю сказки со счастливым концом. От них портится вкус.

В зеркале видно, как его скулы чуть сдвигаются. Это не улыбка. Только тень от неё.

8… 9… 10…

Адриан поворачивается ко мне всем корпусом. В тесной кабине это движение кажется оглушительным. Полы его пальто едва не задевают мои колени. Я не двигаюсь с места. Мне просто некуда пятиться, сзади стекло. Сердце бьётся где-то в самом горле, часто и больно.

— Знаешь, чем хороши закрытые реестры, Ана? — спрашивает он тихо, глядя сверху вниз на мои очки. — В них очень быстро видно то, чего там нет.

— Например?

— Например, тебя. — Он делает полшага вперёд.

Во мне срабатывает чистый животный рефлекс: замереть и не показать страха. Он поднимает правую руку и опирается ладонью о зеркальную стену в десяти сантиметрах от моего виска. На моё отражение сбоку тут же ложится его тень.

Он не касается меня. Ни пальцем, ни рукавом. Но от его ладони и расстёгнутого ворота рубашки идёт такое плотное, живое тепло, что моя кожа под шерстяным шарфом вспыхивает. Это хуже любого захвата. Когда тебя держат силой, можно вырваться. Когда между вами три сантиметра пустого воздуха, вырываться не из чего. Ты сама стоишь в этой клетке и боишься вдохнуть глубже, чтобы не коснуться его грудью.

— Я попросил своих людей взглянуть на налоговые списки Жироны. — Его низкий голос вибрирует от стен кабины, обволакивая со всех сторон. — Там нет ни одного консультанта по имени Ана Феррер. Ни одной сделки с антиквариатом. Ни одного счёта. Ты призрак, который жертвует деньги на фрески и задаёт вопросы о контрабандистах.

В желудке становится холодно, но губы сами складываются в дерзкую, почти весёлую усмешку. Мой лучший щит.

— Вы тратите ресурсы службы безопасности на женщину, с которой танцевали три минуты, сеньор Кастильо? Мне льстит ваша нервозность.

— Это не нервозность. Это аудит. — Его взгляд опускается к моим губам, потом к шарфу, за которым бьётся жилка на шее, и возвращается к глазам. — Ты ведь сама только что слушала: я не люблю тёмные углы в своём доме.

— Разве я в вашем доме? Это общественный лифт.

— Всё в этом здании с десятого по двадцатый этаж принадлежит моему холдингу, — мягко поправляет он. — Так что технически ты снова у меня в гостях. И снова без приглашения.

— Можете вызвать охрану. Уверена, они будут здесь раньше, чем мы доедем до восемнадцатого.

— Охрану вызывают к тем, от кого хотят избавиться.

Пауза натягивается, как струна перед обрывом. В зеркалах за его спиной множатся наши силуэты. Его, тёмный и высокий, нависает сверху. Мой зажат в угол, но лицо упрямо вскинуто.

Адриан чуть наклоняет голову. Совсем близко. Так близко, что его дыхание шевелит прядь волос у моей щеки, выбившуюся из-под воротника.

— Даже очки и чужое серое пальто не перебивают грушу, Ана, — произносит он почти шёпотом. — Спелую и сладкую. Ты можешь менять имена каждую неделю. Но прятаться ты не умеешь.

У меня перехватывает горло. Воздух в кабине становится густым и горячим, как в августовский полдень. Пальцы в карманах пальто сжимаются в кулаки так, что ногти больно впиваются в ладони.

— А вы не умеете врать со сцены, сеньор Кастильо, — выговариваю я тихо, глядя прямо в его ледяные серые глаза на расстоянии ладони. — Человек, который строит стеклянный дом, не прячет руки в карманы пальто.

Его зрачки на долю секунды расширяются. В них мелькает что-то тёмное, острое и совершенно живое. Не расчёт бизнесмена, а чистый азарт хищника, которому добыча только что полоснула когтями по носу.

— Значит, ты смотрела на мои руки, — говорит он глухо.

— Я смотрю на всё, что плохо спрятано.

17… 18.

Мягкий толчок. Мелодичный звон колокольчика звучит в кабине как выстрел.

Адриан не отстраняется сразу. Ещё одну бесконечную секунду он смотрит на меня в упор, впитывая моё сбившееся дыхание, а потом медленно убирает ладонь со стекла.

За его спиной бесшумно расходятся створки. Снаружи просторный холл, матовый мрамор, безмолвие закрытого этажа и стальные буквы на стене напротив: *«Castillo Logística»*.

Одиннадцать этажей этого стеклянного дома принадлежат ему.

Он делает шаг назад, выходя на ковролин, и на самом пороге вполголоса бросает через плечо, не оборачиваясь целиком:

— С Рождеством, Ана. Не читай старые отчёты по ночам. Там слишком мелкий шрифт.

Двери сходятся, отсекая его фигуру.

Лифт ползёт дальше вверх, к двадцать второму этажу. *19… 20… 21…*

Я сползаю спиной по холодному зеркалу на пару сантиметров, выдёргиваю из ворота шарф и жадно хватаю ртом воздух. В зеркалах вокруг меня стоят сто женщин с горящими щеками и расширенными зрачками, и ни одна из них сейчас не похожа на хладнокровного следователя.

К двадцать четвёртому декабря трамонтана наконец выдыхается.

Она стихает перед самыми сумерками, и на «Кан-Моралес» падает такая звонкая, непривычная тишина, что первое время в ушах стоит гул. Голые чёрные лозы на террасах больше не скребут по камню. Небо над Пиренеями расчищается до ледяной, колючей синевы, в которой рано зажигаются первые звёзды.

В доме с утра пахнет праздником. Инес печёт, жарит и гремит чугунными утятницами с семи часов. Аромат курицы по-каталонски с черносливом, кедровыми орешками, корицей и каплей коньяка пробивается даже сквозь закрытую дверь бункера.

К восьми вечера я спускаюсь в столовую и замираю на пороге.

Инес сняла белые чехлы с буфета и натёрла воском край длинного дубового стола. Того самого, на двенадцать персон. Восемь стульев так и стоят в тени вдоль дальнего края, пустые и строгие, как часовые. А на ближнем углу, под светом низко опущенной люстры, постелена накрахмаленная скатерть. На ней три фаянсовые тарелки с рождественским узором, блюдо с брусками миндального туррона и запотевшее серебряное ведёрко, из которого торчит зелёное горлышко нашего игристого.

Три прибора. И четвёртый стул во главе стола. Он отодвинут ровно настолько, чтобы хозяйке было удобно сесть, когда она вернётся из кухни с соусником.

Инес выходит из кухни в тёмном шерстяном платье вместо привычного клетчатого фартука. Волосы гладко уложены, в ушах маленькие золотые серёжки, которые я видела на ней только по большим церковным праздникам. Следом входит Матео.

На нём непривычно белая, туго застёгнутая под горло рубашка и старый вельветовый пиджак, от которого за три шага несёт нафталином и погребной сыростью. Седые волосы смочены водой и аккуратно приглажены на пробор. Его огромные, растрескавшиеся от зимней обрезки ладони кажутся в белых манжетах ещё грубее и тяжелее.

— С Сочельником, дочка, — тепло говорит он и чуть кланяется по старой деревенской привычке.

— С Сочельником, Матео.

Он берёт из ведёрка бутылку, ловко скручивает проволоку и придерживает пробку большим пальцем. Хлопка нет. Только тихий влажный вздох и белый дымок над горлышком. Наше золотистое игристое с шипением льётся в хрусталь.

Матео берёт свой бокал двумя пальцами за ножку. Поднимается. В жёлтом свете люстры морщины на его лице лежат глубокими чёрными тенями.

— За этот дом, — произносит он глухо. — И за тех, кто его держал, пока мы были моложе. За Элену.

Он поворачивает голову к пустому стулу во главе стола.

Инес крестится мелким, быстрым движением и подносит бокал к губам. Её взгляд на секунду касается рукава пиджака Матео и тут же прячется в тарелку.

Я смотрю на золотистые пузырьки в бокале. В голове всплывает банковская выписка из картонной коробки. *«Тут всё уплачено до сентимо, дочка, не мучай глаза»*. Семь лет он переводил деньги маминым убийцам и молчал, чтобы меня не расстраивать. Старый, преданный дурак, которого припугнули или обвели вокруг пальца юристы вроде Сагреры.

Горло перехватывает так резко, что воздух застревает поперёк груди. Если я сейчас сделаю глоток, я задохнусь.

— К мясу нужно красное, — быстро говорю я, ставя нетронутый бокал на скатерть. Звук выходит слишком звонким. — Я спущусь в погреб, возьму мамин последний резерв.

— Сиди, нена, я сбегаю, — тут же дёргается Инес.

— Не надо. Я сама.

Я почти выскакиваю в коридор, не глядя на графин с красным вином, который с самого начала стоит на краю буфета. Инес и Матео тоже на него не смотрят. В этом доме все слишком хорошо знают, когда человеку нужно спрятаться в темноту.

В каменном погребе под кухней стоит густой, неподвижный холод. Я поворачиваю старый карболитовый выключатель у притолоки. Единственная лампа под кованой решёткой вспыхивает вполнакала, выхватывая из мрака влажные ступени, пузатые бока дубовых бочек и чугунное колесо винного пресса в углу. Дальше, за стеллажами, свет тонет в вязкой темноте, где за заколоченной железной дверью начинаются старые катакомбы.

Пахнет плесенью, винным камнем и мокрой извёсткой.

Я дохожу до третьего стеллажа и упираюсь обеими ладонями в шершавое дерево полки. Пыльные бутылки лежат рядами, как снаряды. На пожелтевших бумажных ярлыках выцвели чернила. *«Garnatxa Negra. Заложено 14.11»*.

Мамин почерк. Высокие буквы с острым наклоном вправо и длинным росчерком у заглавной «G». Она всегда подписывала закладки сама, стоя здесь в старом ватнике и дыша на замёрзшие пальцы.

В её последний Сочельник шёл мокрый снег.

Я была на третьем курсе в Барселоне. Мы снимали шумный чердак в квартале Борн вчетвером с однокурсниками, пили дешёвый вермут из пластиковых стаканчиков, смеялись над

чем-то невероятно важным, а из открытого окна неслась гитара с улицы. Телефон в кармане джинсов завибрировал без десяти одиннадцать.

Я вышла на узкую лестничную клетку, где пахло кошками и чужим табаком, прижала трубку плечом к уху и слушала, как в динамике гудит ветер из Эмпорды.

«Мия, мы тут с Инес напекли туррона на роту солдат. — Голос у мамы был уставший, но она пыталась улыбаться. — Может, сядешь утром на первый поезд до Фигераса? Матео встретит на станции».

«Мам, ну какой поезд двадцать пятого числа, — ответила я тогда, глядя, как за стеклянной дверью балкона кто-то зажигает бенгальские огни. — У меня сдача репортажа в понедельник, я вся в текстах. Давай на Пасху, ладно? На Пасху точно приеду на целую неделю».

Она помолчала секунды три. В трубке было слышно только, как тикают старые ходики у нас в столовой.

«Ладно, маленькая. Пиши свой репортаж. Только шарф надевай, в городе сыро».

Разговор длился сто сорок секунд. Я проверила потом по детализации оператора, когда мне в октябре отдали её телефон в участке Mossos d'Esquadra в Фигерасе. Сто сорок секунд на последний Сочельник её жизни. А на Пасху я улетела с друзьями в Лиссабон по горящим билетам.

Телефон нашли на склоне, в стороне от машины. Его выбросило из кабины, когда пикап катился вниз. Экран треснул, но огонь до него не добрался. Шесть лет он пролежал у меня в Барселоне, в пакете с печатью участка. Я не могла его включить. Зарядила только прошлой осенью, после коробки Матео.

В папке черновиков нашлось письмо в фискалию Жироны. Мама так и не нажала «отправить».

«Прошу принять меня по делу о незаконном провозе грузов во Францию через подземные ходы под моей усадьбой. Документы привезу лично в пятницу утром. Элена Феррер».

Пятница была двадцать седьмым сентября. Она выехала затемно, чтобы успеть к открытию.

Пальцы срываются с полки. Я хватаю первую попавшуюся бутылку за холодное пыльное горлышко, прижимаю её к животу и зажмуриваюсь так сильно, что под веками плывут красные круги. Дышать нечем. Каменный свод погреба опускается всё ниже, давит на плечи, пахнет сырой землёй и сгоревшим на серпантине железом.

Деревянные ступени за спиной глухо стонут под чьим-то шагом.

Я не оборачиваюсь. Не могу разжать зубы, иначе всхлипну вслух.

Тяжёлые, неторопливые шаги приближаются вплотную. Потом на мои вздрагивающие плечи мягко ложится толстая вязаная шаль. От неё пахнет горячей духовкой, корицей, жареным миндалём и старым лавандовым мылом.

Шершавые, тёплые ладони Инес коротко сжимают мои предплечья поверх шерсти и замирают.

Она не говорит «не плачь». Не гладит по голове и не произносит глупых слов о том, что мёртвых не вернуть. Она просто стоит за спиной в ледяном полумраке погреба и согревает меня, пока спазм в горле наконец не разжимает когти.

Я делаю длинный, рваный вдох и вытираю щёку тыльной стороной ладони.

Инес молча тянет бутылку из моих онемевших пальцев, подносит её ближе к тусклой лампе, щурится на этикетку без очков и сердито фыркает:

— Старый сбор, нена. Там пробка рассохлась ещё позапрошлым летом, чистый уксус. — Она суёт бутылку обратно на полку и поворачивает меня за плечо к лестнице. — Пошли наверх. У меня курица пересохнет, а грех пересушенной птицы в Сочельник даже священник не отпустит.

Я криво усмехаюсь одними губами, кутаюсь в её шаль и иду за ней на тёплый свет кухни.

К полуночи дом засыпает.

Я лежу в своей детской кровати поверх одеяла, так и не сняв шаль Инес, и смотрю в тёмный потолок на знакомую трещину-реку. За окном абсолютный штиль. Без ударов ставни и гула в печной трубе комната кажется оглушительно пустой.

Экран телефона на прикроватной тумбочке беззвучно вспыхивает белым светом.

Я поворачиваю голову и тянусь к нему. На часах *23:58*. За две минуты до Рождества, когда вся Каталония сидит за столами с семьями, на секретный почтовый ящик Аны Феррер падает одно-единственное письмо.

Отправитель: секретариат частного фонда «Кастильо». Тема: *«31 декабря»*.

Я открываю вложение. На экране разворачивается скан пригласительной карточки. Тяжёлый кремовый картон с водяными знаками и строгим серебряным тиснением:

«Сеньор Адриан Кастильо имеет честь пригласить сеньору Ану Феррер встретить наступление Нового года в частной резиденции в Педральбесе. Сбор гостей в двадцать два часа. Black tie».

Не благотворительный вечер в арендованном особняке. Не публичный яхт-клуб. Его собственный дом на холмах над Барселоной.

Я увеличиваю нижний край открытки. Там, поверх типографского серебра, наискосок бежит живая строчка, выведенная перьевой ручкой с чёрными чернилами. Почерк крупный, резкий, с сильным нажимом:

«Если в этот раз не сбежишь раньше полуночи — покажу настоящие карты. Те

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.